

Амаяк Тер-Абрамянц

Эхо Армении

Рассказы и повести



Амаяк Тер-Абрамянц

Эхо Армении

«Издательские решения»

Тер-Абрамянц А.

Эхо Армении / А. Тер-Абрамянц — «Издательские решения»,

Рассказы на армянскую тему по два-три появлялись в газетах, альманахах, журналах. В этом сборнике они собраны «под одной крышей». Практически все основаны на реальных событиях начала века и нашего времени, на судьбах реальных лиц, публиковались в таких армянских русскоязычных изданиях, как газета «Новое время» (Ереван), журналы «Литературная Армения», «Армянский Вестник», «Арагаст» (Москва), «Путь к Арарату» (Москва, альманах), на интернет-сайте Виктора Коноплёва «Наша Среда» и др.

Содержание

Об авторе	6
Свет в окне	7
Кража	10
Слово	12
Воспитание чувств	17
1	17
2	20
3	23
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Эхо Армении
Рассказы и повести
Амаяк Тер-Абрамянц

© Амаяк Тер-Абрамянц, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Об авторе

Амаяк Тер-Абрамянц родился в 1952 году в Таллине (Эстония). С 1961 года живёт в России (Подольск, а затем Москва). Член Союза писателей Москвы. Автор семи книг прозы, благосклонно отмеченных критиками и читателями (Лев Аннинский, Ирина Роднянская, Михаил Синельников, Олег Мраморнов и др.).

Автор семи книг прозы и публикаций в периодике России, Армении и Эстонии.

Рассказы на армянскую тему по два-три появлялись в газетах, альманахах, журналах России, Армении, Эстонии. В этом сборнике они собраны «под одной крышей».

Свет в окне

В детстве я всегда с нетерпением ожидал Нового года. Мы жили в двухэтажном доме напротив больницы, где работал отец. Уже запустили в космос Белку и Стрелку, и шаловливые мордочки лаек глядели с обложки «Огонька». Я любил играть облигациями, которыми родители получали часть зарплаты, а Таллин еще не взял на буксир безликие пятиэтажки Мустамяэ, и его готический силуэт не взломали прямоугольники небоскребов «Виру» и «Олимпии».

В новогоднюю ночь Дед Мороз всегда приносил мне подарки, странным образом совпадавшие с моим «Хочу, хочу», громко звучавшим в «Детском мире» накануне праздника (мама уверяла, что у нее не хватает денег, и покупала в утешение какой-нибудь пустяк). Но это повторяющееся совпадение не казалось удивительным: Дедушка Мороз должен был догадаться о моем желании – это было также естественно, как сказка с добрым концом. Не было странным и то, что Дед Мороз в голубой шубе и с белой ватной бородой говорил нарочито басистым, но очень знакомым голосом и приход его всегда совпадал с отлучкой мамы к соседям по какому-то крайне неотложному делу. Мир взрослых был высоким и незыблемым, каждое слово их являлось истиной или тайной.

Незадолго до праздника в углу большой комнаты поселялась елка, не больно, дружески покалывающая любопытные пальцы. На всем белом свете не было ничего прекраснее и таинственнее хрупкого блеска игрушек среди вознесения дремучих ветвей.

Отец укрывал пол и крестовину под елкой пушистой ватой и начинал мастерить из бумаги домик с окошком. Между широкими кистями происходило с простой бумагой что-то непонятно сложное. Змеились под смуглой кожей вены сильных и ловких рук хирурга, сверкали ножницы, хрустели листы. Как я завидовал его умению строить домик! В стене он прорезал ячеестое крестьянское окошко, помещал свое творение среди ватных сугробов под нависшей тяжелой зеленью хвои, проводил в него лампочку от батарейки, и домик среди снегов мгновенно оживал, радостно вспыхивая квадратами окна.

– Э-ге-ге! – посмеивался отец. – Вокруг снег, мор-роз, а в домике тепло, уютно... – ...
А за окном шел настоящий, сырой таллинский снег...

– А там есть люди? – спрашивал я.

– Конечно, лесник чай пьет...

– А мы к нему постучим.

– Тук-тук...

– Тук-тук и спрячемся, ладно?

– А он как выскочит, с одним зубом, палкой размахивает: «Кто там? Кто там?..»

Тут я всякий раз заливался смехом, хотя слышал эту историю не впервые – очень уж мне смешным казался этот старик с одним зубом, длинной палкой в руках и почему-то в моем воображении всегда в какой-то нелепо большой шапке.

– Ха-ха-ха, с одним зубом!

– С одним зубом, – подтверждал отец. – Как закричит: «А ну, кто там, вот я вас, проказники!» – и я снова смеялся.

А домик светил иллюзией покоя в человеческой судьбе.

Когда я подрос и мне купили краски, отец иногда вместе со мной пробовал рисовать – и всегда одно и то же:

домик, что-то похожее на украинскую хату, с колодезным журавлем, темная ночь и горящий в оконце уютный огонек. Позже я узнал, что, рано потеряв родителей, отец долгое время скитался по Украине. «Беспризорник...» – он всегда хмурился, когда рядом звучало это слово. Потом были подвалы, общежития, казармы, землянки, какие-то углы в коммуналках... И на всю жизнь сохранилась привычка, где придется стряхивать пепел «беломорины», без

которой не мог жить и получаса. Через все детство я помню эти случайные горстки пепла то на столе, то на подоконнике, в раковине и даже на ковре (теперь в моей памяти они возникают скорбными вешками жизни его Поколения, отметинами невысказанных мыслей, неосуществленных надежд, потерь).

И лишь сейчас, мне кажется, я разгадал природу любви отца к этим огонькам. Детство его закончилось примерно в том возрасте, когда я еще верил в Деда Мороза. В том страшном восемнадцатом году Армения, казалось, испытывала последние предсмертные судороги. Черной ночью деревню, где он жил с родителями, оцепили турецкие аскеры и азербайджанские мусаватисты, и на рассвете должна была произойти поголовная, без различия пола и возраста, азиатская резня. На всю жизнь он запомнил вой, который стоял в деревне в ту ночь. Были люди, собаки, ревела скотина, и невозможно было отличить голоса одних от других в единомestone обреченности перед ужасом небытия.

Но вдруг забрезжило спасение. Оно явилось в образе некоего перса, который за золото пообещал провести людей в горы: он знал еще не перерезанную аскерами тропу. На Востоке любят золото особенной любовью. И перс получил столько золота, сколько мог унести – серьги, монеты, кольца...

Перед уходом расставили на крышах горящие керосиновые лампы, чтобы издали казалось, будто деревня обитаема.

Безмолвная вереница людей. Последний взгляд перед тем, как их поглотят черные горы. Возможно, именно эти ночные огни покинутых жилищ и остались в памяти девятилетнего мальчика стойким впечатлением внезапно, навсегда утраченного мира и уюта!

Ушли все, кроме одной полубезумной старухи.

– Мне смерть не страшна, – сказала она, – я святая!

Не раз пытался себе представить: притихшая деревня, догорающие керосиновые лампы на крышах, худая, скрюченная и страшная, как смерть, старуха, сжимая крест на груди и шепча беззубым ртом слова молитвы, идет одна по пустынной улице навстречу надвигающимся всадникам...

Они облили ее керосином и сожгли живьем.

В ту новогоднюю ночь мама никуда не отлучалась. Вместе с нами была моя няня, Полина Ивановна, коренастая сухощавая женщина с твердокаменным характером, которая все еще часто приходила к нам. В сознании моем она была и осталась «бабушкой», и называл я её просто «Ба».

Полина Ивановна куда-то засобиравалась.

– Ба, – спросил я ее, – ты куда?

– Да к соседям я.

– А к кому?

– Да к Номику, я недолго. – Номик был старший мальчик с нашего двора, к родителям его иногда заходила

бабушка.

– Ты, правда, скоро придешь?

– Приду, приду, скоро, – сказала она и вышла. Я в нетерпении ожидал Деда Мороза, повторял стишок, который должен был продекламировать ему перед тем, как получить подарок, очень боялся сбиться. А перед глазами маячил серый игрушечный крейсер, на который в последнее наше посещение «Детского мира» у мамы не хватило денег. Этот деревянный крейсер можно было бы пускать по настоящей воде в корыте, или даже в море, когда мы поедем летом купаться в Пириту. Отец тем временем размещал домик среди ватных снегов. Раздался стук в дверь.

– А вот и Дед Мороз! – воскликнула мама и побежала открывать.

На этот раз Дед Мороз был не такой, как раньше, – не в голубой, а в красной шубе, да и росточком поменьше, но когда он заговорил, я закричал от восторга, узнав совсем не измененный, не умеющий ломаться голос со знакомой хрипотцой.

– Ма, да это же Ба!

– Да нет же, – уверяла мама, смеясь, – это Дед Мороз, только голос у него похож на бабушкин.

Я в недоумении, задрал голову, смотрел на Деда Мороза – как будто все в порядке: белая борода, шапка, глаза, хоть и похожие на бабушкины, но без очков... И вдруг между воротником и шапкой я увидел нечто такое, что разом решило все мои сомнения.

– Уши! – обрадовано закричал я. – Бабушкины уши! – и радостно обхватил красную шубу. Действительно, эти небольшие круглые уши с комковатыми мочками невозможно было перепутать ни с какими другими.

– Да нет же, нет, – смеялась мама, – бабушка у соседей. Дальше, однако, все шло своим чередом. Заикаясь от волнения, я прочитал какой-то стишок и получил в награду желанный подарок: серый длинный крейсер с орудийными башнями, трубами, сиренами и даже спасательными шлюпками. Он стоял на полу, вполне готовый к походу.

Дед Мороз как-то уж очень быстро ушел.

– Ну, мне пора, пора, – говорил он, ретируясь, так знакомо окая.

Отец зажег огонек, в домике засияла розетка окна, свет проникал через полупрозрачные бумажные стенки, но я вдруг представил, что там, внутри, ничего нет, кроме лампы и ваты, и мне неожиданно захотелось эту пустоту кем-нибудь заселить.

Мы усаживались у маленького, как ожившая фотография, экрана нового чуда того времени – телевизора «КВН». Вернулась бабушка.

– Ба, это была ты? – спросил я ее.

– Да нет же, я к Номику ходила.

– Нет, это была ты, ты была, теперь я знаю, настоящего Деда Мороза нет! – объявил я торжественно, и пусть все утверждали обратное, я так и остался непоколебимо уверенным в своем открытии.

Это была первая тайна взрослых, разгаданная мною в жизни.

Кража

Ноябрь – самый отвратительный месяц в Москве. От роскошных осенних одеяний аллей и парков достойных подворья московских царей остались лишь черные скелеты, бесполезно молящие милости у хмурого неба, снег еще не убелил землю, отчасти возмещая скудность небесного света, и земля черная, слякотная с коварными для мелкой городской обуви лужами на тротуарах. Преобладающий тон – чернота и серость, даже скользкие по Кутузовскому проспекту иномарки какие-то тусклые, как обсосанные леденцы.

Ветер холодный, лезет повсюду, в любую щелку, поэтому иду, подняв воротник, мечтаю поскорее добраться до метро. Позади – Триумфальная арка с воинами в эллинистических латах и шлемах, вздымается в боевом порыве колесница – аллегии русской победы. Но как странно выглядит здесь среди гигантских коробок эта сосланная коммунистами подалее от центра Триумфальная арка, как музейный экспонат, для которого не нашлось лучшего места, а не часть живой истории. Так и для русского человека – славная история его отечества как бы вне его... Вот эти дома, эти кубики-рубрики, магазины и коммунальные платежи – это его, а Триумфальная арка нечто далекое, малопонятное, некий факультатив сознания...

Ветер просто ледяной, да еще мокрый... Мерзкий месяц, мерзкий день... И вдруг на обочине ящики, лоток с весами, черноусая смуглая физиономия какого-то Оглы. Он плохо одет, продрог под московским негостеприимным ветром. Двадцать лет прошло со времени моей первой поездки в Армению. Казалось бы невероятное случилось за это время. «Несокрушимый и нерушимый» СССР раскололся, как бы сам собой, на полтора десятка гордых своей независимостью государств. Гордая не имеющая ресурсов, исключая бульжники, Армения тут же объявила независимость, особенно гордый Азербайджан, богатый плодородными долинами и баснословной нефтью, почти одновременно с ней. Но ресурсы (как впрочем, и бульжники) не помогли и Олгы мерзнет среди московской холодной серости, но в ящиках, о чудо...! – среди всей этой серости, грязи, холода – краснобокие, громадные, один к одному яблоки покрытые каплями дождя, можно представить себе какие они крепкие, холодные, хрустящие...

Да, это было тогда, 80 лет назад... Маленький оборвыш, нищий, совершил единственную в жизни кражу: украл яблоко на ереванском базаре для умирающего от тифа в госпитале отца, моего деда Левона. Он долго бродил по базару с прилавками ломящимися от недоступных спасительных яств: овощей, фруктов, бастурмы и прочих чудес восточной гастрономической фантазии, от которой и у обкормленного до тошноты человека слюнки потекут... бродил, собираясь с духом совершить то, что никогда не совершал в жизни, сын волостного писаря, награжденного русским царем медалью за безупречную честную службу, сын уважаемого земляками члена суда присяжных и заседателей, наследник священнического рода... наконец, улучив момент, выхватил яблоко – большое, краснобокое и спрятав между дырявой, грязной рубашкой и покрытом струпьями телом скрылся в толпе.

Он нес это яблоко до госпиталя забитого ранеными истощенными и тифозными больными. А где-то рядом гремела война, а где-то рядом, под Сардарабатом, гремели пушки, стучали пулеметы и одиночные выстрелы, выстрелы россыпями... армяне ополченцы останавливали последний самый страшный накат регулярной турецкой армии последний удар по четырехтысячелетней армянской цивилизации... Но десятилетнему мальчику было не до этого – главное для него было донести яблоко и спасти отца, ибо яблоко было таким красивым сочным, воплощенной жизнью, что, казалось, оно не могло не спасти... И тлела последняя истина – «Выжить!»...

Наконец, он добрался до госпиталя и когда там услышали кого он спрашивает, русский солдат с перебинтованной головой, один из тех кто из-за ранения или болезни задержался в Армении после развала большевиками победоносного Кавказского фронта, махнул рукой

в пустоту и крикнул: «Умер!» – и это было первое русское слово, которое узнал мой будущий отец.

Он вышел из госпиталя потрясенный двенадцатилетний мальчик, теперь совсем один на белом свете, А яблоко?... – яблоко он оставил, забыл в госпитале.

2002 г

Слово (рассказ)

Вспомнить – значит воскресить. А человек достоин этого.

Было это на последних курсах медицинского института. Мама сняла мне комнату в Москве у милой пожилой пары – Сурена Саркисовича и Любовь Петровны Мэйтарчан. Был он старый мостостроитель на пенсии. Года полтора я у них прожил, если не больше.

Почти на окраине Москвы, за метро ВДНХ, на улице Докукина в белом кирпичном девятиэтажном доме на первом этаже в трёхкомнатной квартире: две комнаты смежные и одна с выходом на лоджию – отдельная, её то мне за совсем небольшую ежемесячную плату мне и предоставили. Хорошее место, тихое: весной и летом я спал с дверью открытой на лоджию, погружённый в законную свежесть, подложив под диван восьмикилограммовую гантелю на случай незваных посетителей (но так их и не дождался!). За лоджией стояла зелёная стена листвы, из-за которой изредка доносился свист тепловозов, проложенной недалеко железно-дорожной ветки.

Любовь Петровна – приятная симпатичная женщина: старушкой не назовешь, несмотря на пенсионный возраст и морщинки – довольно бодрая с карими лучистыми глазами. Сурен Саркисович – невысокий, чуть склонный к полноте человек, лет ему было уже за семьдесят. Ходил с палочкой, старчески шаркая. Смуглолиц, черноглаз, с абсолютно голым плавно-неровным черепом, который покрывал, выходя на улицу в магазин, фиолетовым дешёвым беретом. Небольшой с несколько широкими ноздрями нос без армянской горбинки (у чистокровно русской Любовь Петровны нос с гораздо большим правом мог бы претендовать на армянский – он был с горбинкой, впрочем, которая вовсе не портила женщину, а добавляла ей нечто аристократическое).

Иногда на кухне мы с Суреном Саркисовичем пили чай из стаканов с тяжёлыми металлическими подстаканниками, беседовали. Сурен Саркисович был мостостроитель, в прошлом известный в Москве и в стране: по его проектам были построены Ново-Арбатский мост (за который он и получил эту квартиру, избавившись, наконец, от коммуналки), Северянинский путепровод, автомобильно-троллейбусную эстакаду, соединяющую улицу Остоженку и Комсомольский проспект. Много он потрудился и по стране: Акмолинский мост через Ишим в Казахстане, мост через Днепр в Запорожье, мост через Волгу, соединивший Саратов и Энгельс... – всего списка я не знаю, даже дочь не всё помнит. От него я узнал, что на всех мостах имеются мемориальные доски с именами их проектировщиков и строителей. Даже хотел посетить какую-нибудь, но так и не собрался из-за элементарной лени. Но самой большой гордостью и самой большой печалью Сурена Саркисовича был метромост в Лужниках. Одноарочный, изящный – смело перекинута белая дуга через Москву реку. Проект, глянувшийся более других тогдашнему главе государства, Никите Хрущёву... Я ездил по нему довольно часто. А уже начинали говорить, что мост не выдерживает нагрузок и начинает трескаться, постепенно разрушаться. «Ах, – вдыхал сокрушённо Сурен Саркисович, – соли не доложили в бетон!». Так из-за несоблюдения технологии, что, увы, у нас не редкость, мост пришлось на время закрывать, укреплять дополнительными опорами, достраивать, перестраивать, впрочем уже после ухода в мир иной его создателя.

Родился Сурен Саркисович в 1901 году в армянском селе Нор-Баязет. Гораздо позже я прочёл замечательную книгу Пикуля «Баязет». В ней описывалась героическая оборона русскими войсками города и резня местных армян за то, что они сочувствовали русским. И хотя город остался в русских пределах до революции, видимо, часть уцелевших после резни жителей решили переселиться в места подальше от турок и жутких напоминаний, основав на берегу

чистого, как Божья слеза высокогорного озера Севан подальше и повыше от всех бед земных свой новый (нор) Баязет. Занимались, в основном, сельским хозяйством и Сурен Саркисович вспоминал, как хотелось по молодости спать, когда с первыми лучами солнца приходилось выезжать на лошади в поля на сенокос и другие работы, как никогда в жизни.

О Нор-Баязете упоминал и мой отец. Когда его семья, изгнанная из Нахичевани, скиталась и голодала по Армении, отцу было лет десять, младший брат умер от голода, мать – нашла свой конец на берегу Севана. Оставался беспомощный и непрактичный волостной писарь Левон с тремя детьми – моим отцом, его братом и старшей сестрой. Беженцев было в Армении огромное количество и в армянских деревнях принимали их плохо, иной раз даже собак спускали на них – считалось, что беженец приносит в дом беду. Нор-Баязет оказался одной из немногих деревень, где беженцев приняли сочувственно – как могли, разместили, организовали, накормили для дальнейшего их пути-метания в никуда. Может быть, жители Нор-Баязета помнили собственную трагическую судьбу.

Костистый светло-шоколадный череп без бороды и усов... он невольно напоминал турка до тех пор, пока не приподнимались обычно полуприкрытые морщинистые веки, открывая тёмные глубиной в тысячелетия милосердные армянские глаза, которые ни с какими другими не спутаешь.

– Когда турки были недалеко, наши старики решили защищаться. Где-то нашли две старые пушки и поставили их на площади – усмехнулся Сурен Саркисович. Но турки в тот раз прошли стороной, ниже, сжигая другие деревни и убивая людей.

Вообще-то с ними больше мама моя общалась, когда раз в неделю приезжала из Подольска меня проведать и вкусных котлеток домашних подвезти – у них общих тем гораздо больше находилось, особенно у неё и Любовь Петровны.

Был у меня в этой квартире лишь один враг – чёрная кошка, которую обожали старики и которую я ненавидел за то, что часто оказывалась на моём диване, будто показывая, что настоящая хозяйка квартиры – она. Уж как я её ни гонял, (раз, когда хозяев почему-то не было дома – грубо вышвырнул) – но всё равно проникала в мою комнату (теперь только когда старики были дома!) и вела себя так, будто меня не существовало. И за что Сурен Саркисович её любит? – удивлялся я.

Была у них дочка Наташа, на вид лет 30-ти (а на самом деле сорок), музыкальный преподаватель. Она тоже время от времени приезжала к ним ненадолго. Симпатичная, какими обычно бывают метисы и метиски, очень похожая на Любовь Петровну, но в каком-то восточном варианте. На меня взглядывала мимоходом: студентик, цыплёнок, ещё не сделавший себе биографии, а она молодая вдова: муж талантливый физик на каких-то испытаниях загадочно погиб. Его в семье Мэйтарчан все Ванечкой звали и вспоминали с ласковой грустью – это от него большая часть библиотеки осталась – к моему восторгу оказалась, даже, с запрещённым тогда Шопенгауэром (впрочем, он у меня не пошёл). Зато помнятся чудесные биографии академика Тарле о наполеоновских министрах Фуше и Талейране. Нередко книгу можно было увидеть и в руке Сурена Саркисовича и тайное изумление молодости чуть шевелилось на самом непросветлённом днище душевном: «Неужто в таком возрасте может ещё интересоваться что-то такое далёкое?».

А биография у меня в то время только начиналась, и ой как остро – клокочущее кипение. Я с африканской страстью влюбился в женщину на два года меня старше, наполовину татарку, наполовину эстонку – в общем, русскую, как и я – наполовину армянин, наполовину украинец. Ходил за ней упорно второй год, терпел все её бесчисленные пинки, кокетство с другими парнями, уверенный, что уж моя любовь, моя сила воли всё переломит, распугал женихов... Я верил в силу и несокрушимость своей любви. Ну, конечно, и институт нельзя было упускать из виду, ведь я мечтал стать учёным, генетиком. К концу второго года я добился своего: она

согласилась идти под венец... И тут случилось невероятное, повергшее меня в чудовищный шок: вы не поверите, но я разлюбил её – РАЗ-ЛЮ-БИЛ! Словно какой-то моторчик, подающий энергию в сердце при виде её, звуке голоса в телефонной трубке, при мысли о ней вдруг перестал работать! Просто «Щёлк» и выключился! А дело-то уже разогналось и катило по своей колее во всю: я давно стал вхож в её семью... была помолвка, мы подали заявление в учреждение со страшным названием ЗАГС и осталось ждать меньше 3 месяцев по тогдашним законам. С ужасом я прислушивался к себе, надеясь, что моторчик снова заработает, но нет – полная тишина. Та, что была так страстно любима, стала обычным посторонним человеком, не имеющим со мной ничего общего, мало того, почти бесполым – даже близость не очень-то прельщала. Ну – случайная прохожая... И мысль о том, что скоро я буду сшит с этим человеком на всю жизнь, как сиамские близнецы, и каждое моё движение будет отдаваться ненужным и чуждым отягощением приводила в холодный ужас.

Я не понимал, как такое может произойти, ведь я был так уверен в своих чувствах! Ведь у меня несокрушимая сила воли! Я не понимал, что со мной происходит и, ничего не оставалось, кроме того, чтобы держаться, как и прежде, имитировать чувства, как в дурном театре, и чем далее, тем более я чувствовал себя кем-то одураченным. Что за финт природы? Может быть, дело всего лишь в том, что была уже насыщена близость и то, что я принимал за любовь – лишь передержанная сексуальная страсть девственного юноши? Мир потемнел, и я двигался в нём к назначенной цели чисто автоматически.

Она тоже почувствовала во мне что-то неладное. Но теперь роли будто поменялись: она желала свадьбы, как желает её любая нормальная женщина и когда я попытался было намекнуть ей что «не сходится» (дело было осенью в метрополитене), она разрыдалась впервые за время нашего знакомства, беспомощно прижавшись к моему новому кремовому плащу, оставив на воротнике мазки пятна туши от ресниц. И тогда поражённый жалостью, моментально решив пожертвовать собою я объявил: «Шей себе свадебное платье!».. Мне вдруг показалось, что в моей груди снова что-то вспыхнуло, воспряло... Но на следующее утро я снова не почувствовал в сердце ничего, кроме каменной прохлады, как ни прислушивался, и снова очутился в той же депрессии, только уже более связанным. Вокруг кипела жизнь, лето, а я смотреть ни на что не мог. Учёба, госэкзамены на время позволяли забыть о предстоящей казни, и поход в горы, куда она меня «отпустила» набраться «мужественности», и месяц военных сборов в артиллерийской части в Скопине, откуда я писал лживые письма, что мол люблю, скучаю... Но над всем диким ужасом и хаосом души стояло твёрдое решение: «Я ДОЛЖЕН!»

Что и говорить родители с первого момента были против моей женитьбы, они сразу увидели в ней «женщину с биографией» и жалели меня как упрямого телёнка добровольно идущего на забой. Они быстро поняли, что отговаривать впрямую меня бесполезно – только ледяное «нет» или агрессия. Тут ещё момент – это было моё первое самостоятельное решение без их участия и потому правильное оно или неправильное значения не имело – отказаться от него, значит отказаться от себя. Я был в ловушке судьбы. И чего только они не предпринимали! И якобы случайные встречи с девушками у родственников, к которым они меня посылали за тем или другим делом. Девушки смотрели на меня дурацки восторженными преданными глазами и явно ждали малейшего сигнала симпатии с моей стороны. И отсылали меня на вечеринки к троюродным братьям, которые были чуть старше меня и слыли известными бабникам, в надежде, что какая-нибудь внезапная случайная связь нарушит мои планы.

Вообще, внешне зажатый и неприступный, я испытывал в себе чудовищный хаос и растерянность и эти попытки лишь добавляли мне боли. До сих пор я свято верил в необыкновенную силу своей воли, что я хозяин сам себе, могу управлять своими эмоциями, добиться чего хочу, и тут такое! – любил-любил и разлюбил! Добился! Я будто слышал откуда-то далёкий ледяной смех. Я открыл впервые, что не сам я собой владею, управляю, а нечто другое!.. Что? Кто?.. – ответ не приходил... И это повергало в шок, стыд и недоумение. Как же тогда дальше

верить своим чувствам, принимать решения, как дальше жить?.. Несколько раз я собирался на следующий день объявить своей невесте о разрыве, но наступал следующий день и в решающий момент рот мне будто кто-то склеивал не я, а какая-то сила не давала! Я был дезориентирован: как расценивать то, что я не могу нарушить своё слово: как силу или как слабость!?

Единственным местом, где я мог перевести дух и почувствовать иллюзию утраченной свободы, где истинное выражение моего лица никто не мог подсмотреть была кабинка туалета. Там лицевые мышцы расслаблялись, и выражение моё, думаю, было далеко не самое удовлетворительное. А посещали мысли дикие: «Вот бы война началась! Меня бы мобилизовали, и всё решилось бы просто и красиво, почти как в романах! И осталась бы от всего лишь красивая легенда о любви и расставании...» Но газеты твердили с ликованием о наступающей «разрядке» и переговорах о разоружении.

И вот упросила моя мама старого мостостроителя, с его огромным жизненным опытом, попытаться отговорить меня от свадьбы. Это была последняя родительская попытка. Думаю, согласился старый человек на это без особой радости: кривить душой, и хитрить он не умел.

Хорошо помню тот вечер. За окном было темно и шумел дождь. Мы сидели, как бывало с Суреном Саркисовичем на кухне и пили чай из стаканов с тяжёлыми железными подставочниками. Старый мостостроитель не стал заходить издали. Он немного дольше обычного помешивал сахар в чае и, наконец, неуверенно произнёс:

– Я слышал, ты уже решил?..

– Да, я решил, – немедленно ответил я, стараясь избежать тёмного милосердного взгляда. И чтобы отрезать болезненные для меня дальнейшие обсуждения добавил, как гвоздь последний в крышку гроба вогнал:

– И потом... и потом я уже дал слово!

– Слово... – Мэйтгарчан помедлил, будто что-то вспоминая, – Ты знаешь, а я тебя понимаю... Хотя было по другому...

– ?

– Мне было семнадцать лет. Тогда война с турками была – восемнадцатый год, резня армян... К нам в деревню агитаторы приехали, в армию звать. Записалось сорок человек и пошли до станции. Нас вёл офицер. Идти надо было пару часов, и всё это время рядом с нами ехал на телеге мой отец, стоял на ней и уговаривал, убеждал ребят вернуться.

Я представил себе тогда и часто представлял потом дорогу вдоль лазурного Севана, вереницу ребят и движущуюся рядом с ними телегу, на которой стоял старик, уважаемый староста деревни Нор-Баязет и говорил, вещал, бил в сердца, призывая молодых ребят вернуться домой. Упросить и умолить остаться всегда тихого и послушного сына ни ему, ни его жене не удалось. Тогда он решил действовать в обход. Отцу представилось, что если разагитировать весь отряд, то и сын вернётся, ведь сын не позволяет себе этого наверняка лишь от стыда перед другими... А знал он каждого из колонны, поимённо, знал их семьи – кто оставил стариков родителей, кто малолетних братьев или сестёр, кто невесту. Он знал куда и как ударить больнее по каждому. Он обращался и ко всем, и к каждому в отдельности, бил на жалость, говоря, что их уход обрекает любимых близких на тоску, непосильный труд, болезни и голод (деревне и так не хватает рабочих рук!), лукаво убеждал, что их смерть, желторотых и необученных, никому не принесёт пользы, а только убьёт их близких. Упрекал их в безжалостности и глупости. Наверное, это была самая красноречивая и образная речь в его жизни. И достаточно было одному самому слабому и бесстыдному присесть, например, сославшись, что натёр ногу, пообещав, что нагонит отряд «потом» (но никто не сомневался, что это хитрость и он вернётся в деревню), как каждый подумал: «А чем его кровь слаще моей?». В такие моменты внутренней борьбы, страха перед неизвестностью, достаточно пустяка, чтобы весы перевесили в сторону старого, привычного, и с этого начался полный развал колонны.

– Когда мы дошли до станции он разагитировал почти всех, кроме меня и двоих моих друзей. Я тоже не мог отказаться – я ведь дал слово!

– Ну а дальше как было? – заинтересовался я.

– Ну, привезли нас в Ереван, переодели в солдат, дали лопаты и заставили чистить навоз в конюшне. Оружие не выдали, подготовки военной никакой. В общем две недели мы это терпели, а потом вернулись в село.

И ни в чём меня Сурен Саркисович убеждать в тот вечер не стал, и я благодарен был за это, а рассказанная им история зацепила... Удивительно, об этой истории он не рассказывал даже своей дочери.

После Гражданской войны он уехал в Россию, где выучился на инженера мостостроителя. Здесь и женился, а в 1937 году появилась дочка. Прожили они с Любовью Петровной в любви вместе всю последующую жизнь, не считая разлуки во войной, когда служил офицером так называемого мостопоезда, в задачу которого входило восстанавливать переправы и разрушенные мосты для армии. Не раз приходилось под бомбёжки попадать...

Вот хотел написать о нём, а получилось – больше о себе. Что мне сказать о себе? – Через три месяца после свадьбы мы развелись и больше никогда не встречались. Такие дела.

Он умер в 1979 году, тихо, перестал дышать, ночью у себя в постели. Любовь Петровна, спавшая в этой же комнате на соседнем диване неожиданно проснулась и увидела, что на его груди сидит его любимая чёрная кошка.

А мосты стоят, через них спешили и спешат, едут, миллионы десятки миллионов людей, и едва ли кому, тем более сейчас, приходит в голову вопрос – кто и когда их построил – Акмолинский через Ишим в Казахстане, мосты через Днепр в Запорожье и через Волгу в Саратове, в Москве – Северянинский путепровод, эстакаду, соединившую Остоженку и Комсомольский проспект, Ново-Арбатский мост и многострадальный Лужниковский...

У всех свои пути...

PS. Ну а мы вспомнили о чистом и светлом человеке и помолимся: «Господи! Помоги его душе в иных Мирах!»

Воспитание чувств (маленькая повесть)

1

Никогда еще в жизни я не видел более злющего пса. И имя у него было подходящее к дикому и свирепому нраву этой здоровенной немецкой овчарки, бурой, с траурными подпалинами – Тарзан. Будка его находилась в самом дальнем конце двора, рядом с курятником и изящной кабинкой туалета, и по этой причине каждый из живущих в этом доме по нескольку раз в день имел неизбежное удовольствие быть яростно облаянным, а лай у этого пса был непростой, он был подобен проклятью, в котором только может воплотиться ярость одного живого существа к другому. Впрочем, взрослые к нему привыкли, как привыкают к другим вещам – к постоянным скандалам, шемякиному судопроизводству, к немецкой оккупации, сталинским порядкам, а мы, дети, это чувствовали тоненькими не успевшими заматереть шкурками, каждой своей клеткой и, оказываясь в кабинке, когда Тарзан теряя нас из виду переставал бесноваться, всякий раз вздыхали с облегчением, спокойно отдавая свой низменный долг, а назад неслись уже ангелами, которых запоздалый лай почти не достигал.

Раз или два в день хозяин, дед Авдей или его жена, моя тетушка Ануш, приносили ему миску с густым хлебом и банку с водой. Раньше его время от времени выпускали гулять во двор, однако с тех пор как он бросился на хозяйку, его вовсе перестали снимать с цепи (к тому же во дворе могли находиться дети) и пищу ему приносил лишь дед Авдей. Дед Авдей был единственным представителем рода людского, на которого пес не щерился. Тяжелый и грузный старик подходил к Тарзану и тогда не было слышно ничего, кроме рабской музыки преливчато струящейся цепи.

В то время наша семья временно жила у тетушки Ануш, загостившись на полгода, и в этом же доме, в этом же дворе обитал мой сверстник, двоюродный брат, Левка, внук тетушки и деда Авдея. Собственно, строго говоря, Левка был мне двоюродным племянником, а двоюродным моим братом приходился его отец, Митя, Но было как-то неудобно мне одиннадцатилетнему мальчику называть братом взрослого сорокалетнего человека, директора известного на всю страну ворошиловоградского вагоностроительного завода, с которым мы не прожили ни дня вместе, и потому я его величал дядей.

Длинный одноэтажный дом был разделен на две части с отдельными выходами во двор: в верхней части, ближе к воротам части жили дед Авдей и тетушка Ануш, в нижней, в глубине двора – их сын Митя, со своей семьей: женой Бэлой, дочкой Кариной и сыном Левкой. В этом немирном семействе, в этом дворе постоянно бушевали страсти, шла непримиримая, то чуть затухающая, то вспыхивающая с новой силой из-за какого-нибудь пустяка, столетняя война между свекровью и невесткой, рикошетом то и дело сильнее или слабее задевающая остальных: обе были одинаково несдержанны на язык и не уступчивы и в то же время крайне щепетильны до всяких мелочей как только могут до них быть заметливы и памятьливы на нехорошее восточные люди. Нашему же семейству удавалось среди этой бури поддерживать нейтралитет и даже играть некую посредническую миротворческую роль.

Я не видел более скучного города, чем Луганск: ни древней крепости, ни моря, ни великой реки, ни старого центра, хранящего следы архитектурных древностей, ни речки с лесом поблизости – ничего, что могло бы пробудить в душе возвышенное или хоть сколько-нибудь лирическое: тысячи и тысячи белых крытых черепицей одноэтажных беленьких домиков в садах, разбросанных по холмам на месте бывшей степи насколько хватает глаз, трубы заво-

дов облака угольной пыли. Здесь сразу чувствовался культ еды – это было видно по рослым и цветущим луганчанкам и луганчанам, их гладкой блестящей коже с легким золотистым загаром, сквозь который пробивается румянец, крупными скругленным жирком чертами лиц и обводами телесной фактуры, в сравнении с чем их северные славянские собратья «москаля» кажутся более подсушенными и бледными, примороженными что ли... Нежный воздух доносил из дворов запахи пищи и действовал на мозги растворяющим образом. Самое удивительное было, что жители здешние вовсе не выглядели страдающими от полного интеллектуального штиля, в который был погружен город, как мне казалось тогда. Только на моей памяти город этот пару раз переименовывали: из Ворошиловограда в историческое исконное имя Луганск после разоблачения культа личности Сталина Хрущевым, и снова в Ворошиловоград, после того как Хрущев пал.

Здесь, в Луганске, кажется еще с царских времен существовала небольшая армянская колония. Дом Авдея и тетушки Ануш, как и все дома здесь – с белеными известью стенами под черепицей, тяжелыми, закрывающимися на ночь ставнями, стоял на углу пересекающихся улиц. Со стороны одной из улиц к их двору примыкал, отгороженный лишь глухой стеной из известняка, двор младшего брата Авдея – Власа, известного на всю округу самодура, а с другой улицы дом соседа Карпуши. Родные братья Авдей и Влас не разговаривали друг с другом со времен нэпа, хотя до его крушения имели общее дело: что-то произошло тогда между ними и Авдей проклял младшего тяжелым армянским проклятьем. Само собой и члены их семей не общались, случайно встречаясь лишь у артезианской колонки на перекрестке и, будто друг друга не видя, набирали воды и уходили, как призраки. Каждый из родных братьев жил так, как будто бы другого и его семьи живущих за забором не существовало в природе. Даже упоминание имени Власа в доме тетушки было под негласным запретом или не иначе как с непременным пояснением: «Эта сволочь, Влас». Сосед Карпуша был тихий маленький и худенький человечек, который иногда навещал тетушку. Он садился развернув стул наоборот посреди комнаты, положив руки и подбородок на спинку стула и тихо о чем-то беседовал с тетушкой по-армянски с долгими паузами во время которых его светлые глаза устремлялись в какое-то неведомое пространство. Одно независтливое окно его дома доброжелательно смотрело прямо в сад тетушке. У него была дочь Элла, волоокая белотелая девочка, иногда приходившая погулять в тетушкин сад. Разговаривала она мало и мне казалась скучной и туповатой.

Тетушка Ануш, несмотря на то, что прожила в России большую часть своей жизни, хорошо говорить по-русски так и не научилась. Возможно из-за того, что общалась по большей части со здешними армянами на каком-то особом языке, который образовался здесь из смешения различных армянских диалектов и наслоившегося русского и украинского произношения многих звуков. Однако читать и писать по-русски она все-таки научилась, хотя и писала письма с забавными ошибками, отражающими ее кавказский акцент. Естественно, всех людей и все предметы мужского рода были для нее «она», а все женского рода – «он»: Митя поехала, Бэла пошел и т. д.

Захаживал в гости к тетушке время от времени странный человек по имени Сетрак: рыжий, горбатенький с голубыми глазами и толстым красным носом. У него не было семьи, определенной работы и никто не воспринимал его всерьез. Основным его занятием было то, что он ходил по домам и доказывал, что тот или иной из известных людей является армянином (получалось, что едва ли не все известные люди на свете – армяне, только это упорно скрывают). Особенное веселье у слушателей вызывало, когда он садился на своего любимого конька и начинал доказывать, что великий русский полководец Александр Суворов являлся на самом деле армянином.

Этого человека даже так и прозвали: Сетрак-Суворов.

Уже гораздо позже, в зрелом возрасте, мне в руки попала книга о Суворове. Каково же было мое изумление, когда в ней на первых страницах я прочитал, что отец матери Суворова

дьяк по фамилии Мануков. Вообще-то Манук —армянское имя, Манукяны или Мануковы не так уж редки среди армян. Больше в книге о материнском происхождении Суворова – ни слова – все внимание на высокой дворянской родословной отца.

Представляю как бы взбесились российские ура-патриоты заяви им такое: «Нашего Суворова „хачики“ хотят отнять!?!...» Успокойтесь. Как Пушкин «наше все» для русской литературы, так и Суворов «наше все» для русской военной истории. Но как и Пушкин, несмотря на своих эфиопских предков – русский писатель, так, безусловно, и Суворов – русский человек и русский полководец.

И все ж не полным идиотом оказался этот рыженький, горбатенький, с толстым носом: Воистину неисповедимы перекрестья наших генеалогических корней!

2

Мы вместе с моим племянником-братом ходили в школу, в один и тот же третий класс, где нас заставляли учить украинскую «мову», а я, к тому же, посещал и музыкальную школу, класс скрипки. Я учился хорошо, Левка – «доже похано». Я считался пай мальчиком, Левка – хулиганом, хотя автором некоторых, пожалуй самых одиозных, в итоге вызывающих новую волну шторма во дворе шалостей, бывал я.

Болтаясь во дворе, мы с Левкой часто недоумевали зачем престарелой тетушке нужны уныло лежащие на грядках зеленые помидоры. Шли летние месяцы, а ленивые помидоры никак не хотели не то что краснеть но даже розоветь и вместе с листвою стеблей жалко, будто изнывая от никому не нужного существования, так и валялись на земле. Иногда тетушка разрешала сорвать несколько штук. Мы клали неудачливые томаты в ванночки для проявления фотобумаги, которых у дяди Мити была прорва, относили их на крышу гаража. Через два-три дня под щедрым малороссийским солнцем помидоры приобретали кровависто алый цвет, правда кожура их истончалась, становилась мягкой и, по правде говоря, я не помню, чтобы их кто-нибудь ел. Возможно, тетушка использовала их в приготовлении потрясающего человеческого воображение украинского борща.

Иногда в гости к нам с Левкой приходили мальчишки из соседних домов. Мы мечтали устроить футбольный матч, но на улице были машины, а во дворе все было занято разнообразными грядками, а самое удобное пространство под абрикосовым деревом – помидорами. И однажды меня осенила блестящая идея, которая будто сама уже давно витала в воздухе, осторожно примеряясь в чью же первую мальчишескую башку все-таки влететь: надо сделать то, до чего просто не доходят руки престарелой и перегруженной хозяйственными заботами тетушки – вырвать все зеленые, лениво не желающие созревать помидоры и положить их на крышу гаража, где они быстро, ударными темпами созреют, а грядки мы разровняем и сделаем небольшую спортивную площадку, где можно будет играть в футбол. Два добрых дела одним ударом – и нам спортивная площадка, и тетушке радость – красные помидоры... Идея была немедленно и горячо воспринята всей компанией, которая тут же перешла к ее претворению в жизнь: в какие-то несколько минут все помидоры были тщательно с корешками выдраны, плоды тщательно отделены, помещены в различные емкости – тазики и ванночки для фотобумаги, доставлены на крышу гаража и аккуратно расположены для созревания. Стебли и корневища были свалены в стороне в стожок, и вся команда принялась дружно и весело топтаться и прыгать, утрамбовывая будущую спортивную площадку, родину новых чемпионов.

Примерно в этот момент тетушка появилась на крыльце. Я было двинулся к ней, чтобы рапортовать о видах на досрочное созревание помидоров, но что-то меня внезапно остановило.

– Тетя Ануш, а мы...

Она застыла на ступеньках, будто резко остановили кинолентку, руки упали вдоль туловища, черные глаза ее нехорошо расширились. Грядки специального сорта зеленых помидоров, которые она заботливо выращивала для засолки на зиму, отсутствовали, а на их месте выплывали бесенята.

– Вай! Вай!... Авдей! – неожиданно заголосила-запела она – пасматри, что эти сволачи сделали! Памидоры! Май Памидоры!... – Она всплеснула руками, будто собираясь куда-то лететь.

Если уж звали деда Авдея, значит, дело было совершенно нешуточным. Где-то мы что-то недоучли, но разбираться было некогда. Да и дед появился на пороге необыкновенно скоро. Чудовищно громоздкий квадратный великан стремительно двигался в нашу сторону, что-то кричала тетушка по-русски и по-армянски, но нам некогда было разбирать. Стайка пионеров рванулась к воротам и замыкающие – мы с Левкой. Дед двигался необычно быстро, но не пере-

ходя на бег, даже в своем преследовании сохраняя степенность. Все, кроме нас успели проскочить в калитку – мы были отрезаны и рванули в сад. Юркий, как мартышка, Левка кинулся к штабели досок у глинобитного забора, вскарабкался и перемахнул на ту сторону. Однако доски лежали одна на другой неустойчиво и от толчка Левкиных ног посыпались вниз, отрезав мне отступление.

Ужас мой был нешуточным. Дело в том, что в отличие от Левкиной семьи, где его матушка тетя Бэла щедро выписывала сыну подзатыльники, в нашей семье считали правильным не бить, а объяснять. Удар по лицу или по шее, удар почти чужого человека, каковым по сути для меня был дед Авдей, был бы для меня каким-то невероятным и дичайшим событием, нарушающим все устои мироздания. Другое дело сверстники: с ними драка почти сразу переходила в борьбу и я чаще выходил победителем, укладывая соперника на обе лопатки – этим все и кончалось. Частое битие, если и не повысило уровень успеваемости Левки в школе, зато развило в нем какую-то животную изворотливость и хватку, и он раньше меня среагировал, рванув через забор. В то лето я с удовольствием читал каким-то образом попавшую ко мне в руки книжку о карибских флибустьерах, с описаниями боев и жуткой резни, почти отождествляя себя с героями книги, а тут полностью растерялся: я и не представлял себе как омерзительно простейшее насилие в жизни! Но события стремительно раскручивались к потере божественной целомудренности небитого дитя... В панике я оглянулся и увидел единственный путь: открытую дверь гаража, который в этот час был пуст (Левкин папа дядя Митя уехал на работу на своем голубом москвичике первого выпуска). Конечно, это была ловушка, потому что ворота гаража на улицу были заперты, но мне было не до размышлений и я действовал совершенно инстинктивно, нисколько не умнее убегающей курицы. Заскочив в гараж, я бросился в длинную узкую недавно выкопанную смотровую яму, вжался в сырую землю под выступающим над краем козырьком досками пола, так, чтобы меня сверху не было видно. В сумрачном гараже стало совсем темно: это перекрыл собою дверь дед Авдей и послышалось отчетливое, почти задумчивое:

– Нет, здесь никого нет!

– Да там он, там! – слышался издали тетушкин голос.

– Да нет, здесь никого нет! – раздумчиво повторил голос Авдея, и в гараже посветлело: он ушел. Теперь-то я понимаю: конечно, он знал, что я в яме, но вовсе не горел желанием схватить меня и устроить показательную экзекуцию, ведь мы были, хоть и родственники его жены, но гостями, и это могло вызвать серьезные осложнения с моими родителями – он поступил по-мужски мудро, не поддавшись на женскую истерику.

В яме было прохладно и спокойно, и я не спешил вылезать, обдумывая свою неизбежную печальную участь. Я вылез из ямы лишь тогда, когда услышал голос мамы, вернувшейся из магазина, и появилась какая-то гарантия, что меня не тронут. Осмелев, я вышел в сад и бочком стал приближаться к крыльцу, на котором стояли моя мама, появившийся отец, дед Авдей и тетушка Ануш.

Взрослые меня почти не заметили, лица их были обращены к дальнему концу двора, где тетя Бэла крепко держала Левку за шиворот и что-то раздраженно выговаривала свекрови.

Дискуссия шла в основном между тетушкой Ануш и Бэлой, Левкиной мамой, по проблемам воспитания детей. Тетушка Ануш подвергала невестку громогласному осуждению за то, что она не умеет воспитывать сына, ее внука, который удостоился чести пару раз быть названным «сволочью». Невестка яростно огрызалась, однако, не выпуская Левку из рук.

– Что он один что ли там был? – кричала она. – Он свое получит! – и раз!... раз! – вклеила затрешины по затылку Левки. Левка взвыл:

– За что? Это все Артурчик выдумал!

Стоявшая тут же мама, не принимающая прямого участия в перепалке глянула на меня:

– Ты?...

– Я молча кивнул, – маме своей я никогда не смог бы солгать.

– Неправда! – закричала тетушка Ануш. – Артурчик не может! Он мальчик воспитанный! Он на скрипке играет! Это твой Левка хулиган!...

3

Не помню ничего скучнее домашних занятий на скрипке. Мама уходила по делам, все взрослые куда-то расходились и в доме оставались лишь мы с Левкой, а я должен был отыграть свой необходимый, приближающий меня к какому-то очень светлому жизненному будущему, час. Мальчик я был ответственный, обманывать было не в моих правилах, и я стоял посреди большой полутемной комнаты, как стойкий оловянный солдатик, и пиликал на скрипке, пожирая глазами циферблат старинных надежных, как всякие дореволюционные вещи, ходиков, пытаюсь усилием воли протолкнуть минутную стрелку быстрее в будущее (слово «телекинез» – я узнал лишь гораздо позже). Но сколько я ни таращился, стрелка, то ли в силу своей дореволюционной консервативности, то ли того, что (как я вынужден с грустью себе признать) сила воли моя еще не была достаточно тренирована, не поддавалась воздействию моих духовных вибраций, наоборот, плевать на них хотела и даже ползла медленнее чем обычно, медленнее, чем когда-либо. В сумрачной комнате было по гробовому тихо, пахло старой мебелью и мятежные извлекаемые мною из-под смычка звуки казались здесь совершенно чуждыми. В полном равнодушии, нисколько мне не сочувствуя, смотрели на меня со стен фотографии многочисленных весьма дальних даже по кавказским понятиям армянских родственников, незнакомых хмурых мужчин, женщин в монисто и с вуалями на головах и робко зреющими в уголках губ предвестиями улыбок, явно не признавая в мальчике в коротких штанишках со скрипочкой своего потомка, сродственничка, порой весьма дальнего бокового ответвления обширного древа, перемахнувшего за крепостную изгородь, оттуда, где все шито-крыто, оказавшейся на чужой улице любопытной ветки и того гляди готовой проорать то, чем надо бы традиционно помалкивать. Да и я их почти никого не признавал, разве отца, еще совсем молодого с первой женой ленинградкой и моей сводной сестрой Наташкой. Да сыновей тетушки – беспутного красавчика любимца тетушки светлоглазого Рафика, жившего с семьей в Москве, да молодого дяди Мити в буденновке. Был там еще какой-то незнакомый мальчик в белой овечьей папаше и с кавказской чохе с газырями – вот ему я немного завидовал за эти газыри с патронами и папаху, хотя откуда-то знал, что стоило ему повзрослеть, как все эти украшения исчезли и стал он обыкновенным советским школьником в серой униформенке, с серой фуражкой с козырьком кокардой и еще что-то мне говорило, что и в будущем, во взрослом состоянии никогда не одеть ему сие экзотическое одеяние, в котором удобно гонять в горах отары овец, отстреливаться от волков и разбойников, и то была всего лишь игра... Я видел, я чувствовал инстинктивно, как изгонялась из жизни любая своеобычность и красота, как все смешивалось, усреднялось, и в одеждах, и в языках, и в строительстве, и в нравах, как безлико аляписто укрупнялось, и как-то понижалось, особенно в сравнении с тем миром, который я встречал в книгах, и большинство же меня окружающих взрослых принимали эту неизбежность, как правило, без малейшего протеста, а во мне все дергалось, трепыхалось, все хотелось чего-то необычного, как море, которое мы когда-то оставили.

В основном, все эти родственники локализовались в пределах большой золоченой рамы, которая в течении десятилетий заполнялась все новыми образами. Было их уже не менее сотни, вставленных в полукруглые альбомные уголки, придерживаемые стеклом, разных размеров, обычные, с овалом, пожелтевшие и не очень. Тетушка Ануш всегда просила родственников присылать ей фотокарточки, особенно если кто родился, женился или умирал... Мест уже не хватало, и она помещала их в уголки своей рамки. Многих из этих людей уже и не было в живых, и лишь она могла с ними беседовать или кому-то рассказывать (впрочем охотников слушать у нее бывало мало, разве такая же древняя армянка с соседнего двора, мать Карпуши).

Я отвлекался от всех этих непонятных людей и снова возвращался к скрипке. Унылые гаммы напоминали подъем и спуск по лестнице серьезных всегда скучных взрослых людей,

более веселые арпеджио перепрыгивали через ступеньки, как дети, но в их систематической повторяемости чувствовалась вновь лишь ловушка взрослых, муштра лишь замаскированная под праздник... А преподаватель Роберт Исаич Канцель не уставал повторять, с сожалением смотря на меня светлыми ледяными очами, что самые великие музыканты играли эти самые скучнейшие гамы по пять часов в день!!! И сердце при этом слегка холодело от ужаса.

В темноте поблескивали громадные золоченые набалдашники, похожие на церковные купола, могучей металлической кровати с растительным чугунным узорчьем решеток и колоссальной периной. Сей альков был явно предназначен не для легкого игривого услаждения, а для темного и жаркого труда продолжения рода. А над ним фотография молодых тетушки Ануш и деда Авдея – у молодого Авдея уже начинали редеть волосы, однако, светлые усы слегка топорщились вверх и в больших светлых глазах таилась искорка усмешки. Говорили, что во время резни он перенес на себе свою будущую жену через Зангезурские горы. Силу он свою сохранял довольно долго – рассказывали, подаваемые к десерту грецкие орехи колот одним ударом пухлой белой лапы. А иногда, во время обеда перед тем как употребить украинский борщ, искусством подготовки которым Ануш овладела в совершенстве, Авдей брал маленький стручок острейшего красного перца, одной крохотной дольки которого добавленной в борщ хватало бы на то чтобы вызвать у обычного человека во рту геенну огненную. Дед Авдей молча отправлял весь стручок в рот, кричал и некоторое время сидел неподвижно и в этот момент его могучий купол лысины, как свидетельствовали наблюдатели, покрывался тысячью мельчайших капелек пота... В двадцатых годах он стал довольно успешным нэпманом, с братом Властом что-то продавал, что-то покупал и скопил неплохое состояние. Но однажды в конце двадцатых годов он пришел домой, сел за стол и обхватив голову руками сказал; «Нам конец!». Только что он случайно проходил мимо комсомольского митинга, на котором выступал его сын Митя и жарко, искренне клеймил богачей и нэпманов. «Ануш, ты послушай о чем эти босяки говорят! – поделить все поровну и раздать! А они работали? А они ночами не спали? Взять и отдать!» – возмущено повторял дед Авдей. Сына он хорошенько вздул, однако с тех пор глубоко задумался и стал еще более молчалив.

Экзекуция над сыном, однако не смогла остановить необратимый ход истории, обеспеченный крутыми мерами чека и НКВД: вскоре налоги взлетели настолько, что дело пришлось закрыть.

С тех пор дед Авдей стал тихим и примерным советским служащим, устроился какого-то завсклада, где, очевидно, как это бывало, негромко подворовывал (впрочем, воровством это считалось лишь с точки зрения советского государства, а с точки зрения Авдея было справедливой, хотя бы частичной компенсацией учиненного ему государством грабежа), ходил в белом френче в белой фуражке и с кожаным портфелем из крокодиловой кожи. А старший сын Митя пламенный комсомолец, пошел в рабочие вагоностроительного завода и к семидесятым годам, последовательно изведав все этапы – мастера, инженера, начальника цеха – дорос до директора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.